

В. В. КОЛЕСОВ

Стилистическая функция лексических вариантов в Сказании о Мамаевом побоище

Говоря о поэтических особенностях Сказания о Мамаевом побоище, исследователи специально отмечают, что стиль этого памятника состоит «в соединении воинских формул с фольклорными образами и с элементами риторики»¹ в таком органическом сплаве этих трех составляющих, что безусловно можно говорить «о высоком поэтическом мастерстве автора Сказания о Мамаевом побоище».² В этом смысле интересно проследить лексические варианты и синонимические ряды слов, использованные автором Сказания, и объяснить стилистическую функцию таких слов на фоне обычных для начала XV в. значений слов и идиом. Необходимо было бы сплошное и исчерпывающее изучение всего текста, и притом по разным редакциям и спискам. В настоящее время такую работу произвести невозможно: у нас нет критического издания текста. Ограничусь поэтому предварительной разработкой темы в плане постановки проблемы.

Обилие материала, представляемого и одной редакцией Сказания, позволяет вполне однозначно решить эту задачу на материале и одной редакции, которую в соответствии с аргументацией Л. А. Дмитриева мы признаем Основной, составленной между 1406 и 1434 гг.:³ она обладает и наибольшим единством в стилистическом отношении, она же является и самой распространенной. Предварительный просмотр нескольких списков Основной редакции Сказания показал значительные расхождения в тексте и частичные его изменения (выпуски, перестановки, сокращения). В сопоставимых отрезках текста стилистические или лексические правки не очень значительны, хотя в отношении к некоторым словам варьирование достигает, напротив, весьма широких пределов. Чтобы показать границы лексического варьирования в тексте, пользуюсь двумя списками Ленинградской Публичной библиотеки: О.XVII.6 (в дальнейшем — 6) и Q.IV.342 (в дальнейшем — 342). При цитировании первым всегда указывается пример из изданного Л. А. Дмитриевым списка XVI в. ГИМ, Синодальное собр., № 485.

Каковы бы ни были источники, использованные автором Сказания, все они подчинены основному композиционному стержню произведения: подготовка, проведение и обсуждение результатов сражения. Трехчастность композиции выявляется довольно четко.

¹ Л. А. Дмитриев. К литературной истории Сказания о Мамаевом побоище. — В кн.: Повести о Куликовской битве. М., 1959, с. 443.

² Там же.

³ Там же, с. 423.

Расположение противоборствующих сил также подчинено обычному для средневековых авторов тернарному разбиению. Зеленым (т. е. *светлым*) знаменам Мамай,⁴ объединившим темные силы поганых, противопоставлены червонные знамена Дмитрия,⁵ под которыми объединились светлые силы православных. Автор не случайно говорит о том, что шелома русских воинов, их оружие, сбруя их коней — позолочены, золотые, поблескивают. Это переключка цветовой гаммы с золотыми куполами соборов, также представленных в движении текста, но вместе с тем это и символическое обозначение света. В древнерусских текстах часто встречается изображение бога как света (*светоносный, светозарный*), а верных ему людей — как отражающих этот свет (*златозарных*). Соответствующая традиция идет от жития Бориса и Глеба, с которым часто переключается и текст Сказания. Золотой блеск у русских воинов — это отблеск небесного света. Столь явной антитезе света тьме противопоставлено отсутствие всяких цветовых и световых обозначений для союзников Мамай. Они в тени, они выпадают из развивающихся событий, они не маркированы ни в авторском повествовании, ни в стилистической гамме.

Последовательность троичного разбиения как средневековый стилистический штамп широко представлена на всех уровнях текста, и нет смысла разбирать его во всех подробностях. Такое разбиение отнесено даже и к «однородным» по функции персонажам, например к священнослужителям, с точки зрения основной композиционной струи исполняющим функции связи между божьей волей и земной силой князя. Недостижимому и высокому Киприану противопоставлен спаситель и вдохновитель победы Сергей, который в свою очередь как некую материальную субстанцию выделяет с границ своего уровня ратоборцев Ослябю и Пересвета — уже скорее воинов, чем старцев. Каждый из этих уровней проявления божьей воли имеет свой стилистический ключ, и в отношении к нему используется определенная лексика в соответствии с обычными для того времени представлениями о стилях высоким (Киприан) и низким (Пересвет). Удивлявшую исследователей необходимость включения личности Киприана в повествование можно толковать как потребность заполнить верхний уровень в этой триаде, поскольку с точки зрения церковной иерархии действительный молещик князя Сергей не мог стать ее верхним пределом.

Рассмотрение фактов начнем с наиболее ясных случаев. На первый взгляд безразличные в отношении к стилистическим нюансам текста, глаголы движения на самом деле образуют определенный градационный ряд. Если извлечь из текста ремарки автора и прямую речь героев, указывающие на последовательные действия Мамай, а затем и Дмитрия, выявится такая последовательность передвижений (в квадратных скобках показаны глаголы, использованные в письмах и монологах, т. е. имеющие, возможно, дополнительную стилистическую нагрузку): *Мамай — въздвигеся от въсточныя страны... нача подвижен быти... перевезеся великуу реку... поиде же безбожный на Русь* (т. е. до ее границ) ... *доиде... кочуетъ* (дожидаясь союзников и осени)... *хочеть иги на Русь* (но один не решается)... [*хочещи иги* — размышления потенциальных союзников]... [*грядеть* — неотвратимо, по мнению все тех же Олега и Ольгерда, хотя замедление действия все еще продолжается]... *приидеть*... [*грядеть... грядеть*]... *грядетъ*. Постепенное усиление движе-

⁴ Оба употребления слова *зеленый*, хотя и не в отношении к знамени, связаны с погаными.

⁵ В списках Сказания употреблено слово *черные* — даже если это и искажение слова *чермные*, оно весьма характерно.

ния, основного для повествования, как бы пробуждает само действие; к каждому глаголу в этом последовательном ряду можно приписать его собственный отрезок текста, потому что каждое новое движение Мамаю, пусть даже «статичное движение», возбуждает какое-нибудь действие со стороны его союзников или Дмитрия, или даже самого автора повествования. Так, у Дмитрия соответственно представленной градации по мере уяснения ситуации как результата действий Мамаю и с помощью «чудесных помощников» Киприана и Сергия, а также и самого бога возникают следующие реакции: *нача молитися... вѣсклонися и рече... прослезися и рече... пригнув руце к персем своим, источник слез проливающи*, т. е. в соответствии с постепенным и неуклонным у Мамаю «поднялся» — «расшевелился» — «перешел границу» у Дмитрия пока еще пассивное желание замолить беду градационным рядом плача: «склонился, говоря (молитву)» — «пролил слезы, говоря (молитву)» — «изливая потоки слез». Сложность анализа в данном случае заключается в многопланности самого повествования. Например, как в данном случае, плачет не один Дмитрий, и другие «светлые» герои умиленно «выплакивают» победу: священники, княгиня и т. д. В частности, промежуточный плач княгини между двумя молитвами Дмитрия обогащает представленный градационный ряд еще одной ступенью: (Дмитрий) *источник слез проливающи* — (Евдокия) *слезы льючи аки речъ ную быстрину* — (Дмитрий) *слезы аки река течаще от очю его*.

Приближение Мамаю к русским границам и последующий ряд его неуверенных маневров соотносится с неопределенными же, но вполне сознательными недействиями Дмитрия, с его распоряжениями, представляющими как бы результат его самоуглубленного разговора с богом или его представителями на земле: *прииде... поиде... посла... разослав... поиде* — все это стилистически и семантически нейтральные глаголы, в спешном мелькании текста их как бы не замечаешь: слова-связки, не больше. Но, подобно мгновенному, но повторяющемуся кадру, они фиксируют движение героя, а в сопоставлении с другим, стилистически уже выразительным рядом слов они как бы указывают на обыденность, обычность, привычность этих княжеских действий. Ситуация решительно изменяется в третьей части, когда и Мамаю уже *грядеть... грядеть... грядеть*. Действия Дмитрия соответственны, это уже не молебщик, а воин: *вѣстаетъ... взыде... вседоша (на коня)... подвигошася... грядеть*. Этот ряд заключает высокое слово, знаменующее неотвратимость и непреложность предстоящей битвы в качестве заключительного члена градационного ряда, и оно применено по отношению к русским воинам, действия которых в экспозиционной части представлены как *поиде... ведетъ языка... приидоша... грядутъ*. Противоборствующие силы сошлись во всех своих составляющих. В соответствии с замыслом Сказания ни Олег, ни Ольгерд не даны в движении. Они статичны, и на этом фоне даже «статичное движение» Мамаю в центральной части воспринимается как действие. Чего стоит единственное упоминание о том, что Олег *начат приспешивати* — это почти ироничное указание на неподвижную растерянность союзника Мамаю.

Таким образом, подбором и расположением слов, почти не повторяясь, автор дает нагнетание обстановки перед боем, причем инициатором во всех фрагментах является Мамаю; действия Дмитрия и его воинов определяются действиями Мамаю, тогда как союзники последнего вообще бездействуют. Лексика этой группы в большинстве списков передается без изменений, настолько она важна и функционально определена. В просмотренных списках лишь однажды в передаче косвенно-прямой речи — что неуклонно Мамаю *грядеть на Русь* (50) — другие

списки дают нейтральный глагол *идеть* (6, л. 44, 342, л. 9), что, может быть, точнее отражает смысл данного фрагмента текста.

Основное выражение действия в сцене боя, естественно, принадлежит глаголу *бити(ся)*: *и аще побием (Мамай) 61, крепко бьющеся 69, побиеши сугь 69* и др., но в конкретном проявлении боя в отношении к определенным лицам используется глагол *ударити*: ударяют копыя друг о друга, воины ударяют своих коней и т. д. — не в значении «убивать». В этой сцене много устойчивых сочетаний, обычных для средневековых воинских повестей, и нейтральность традиционного штампа как бы стирает в глазах автора противопоставление русского воина вражескому: в бою они равны. Однако результат действия, как это и следует ожидать, в глазах автора не однозначен в отношении к противоборствующим силам. Если враги русских *бьют* (то же нейтральное слово в значении «убивают»), то русские врагов *секут* (один раз *изрываху* 71): *татар сеци 71, и начаша их сеци и всех изсекоша 65, сечаху 71* и др. Гибель русских воинов описана отстраненно от самого факта сражения, как будто они умирают не насильственной смертью, а по повелению свыше, что является необходимым условием победы (так же первоначально воспринимается героями и отсутствие Дмитрия среди убитых и живых). Для этого автор последовательно использует глагол *стирати* 'размалывать', 'истреблять' и вместе с тем 'мучить', ср.: *мнози же сынове русские сътрошася 69, напрасно сами себе стираху 69*; в высоком слого, например в речи святого, использовано и слово *требити*: *кто въ повеле требити отечество наше 65, нъ не истребишася божиею милостью (стяга Дмитрия) 70* — это также связано с обозначением жертвы (требы), но в стилистически ином плане.

Равные друг другу в бою, русские и вражеские воины погибают одинаково; например, от тесноты на поле битвы они *издыхаху 69*, слово очень удачно благодаря своей многозначности: одновременно это может передавать значение 'задыхались' и 'испускали дух'. Пересвет и его противник в результате смертельной стычки также *скончашеся 69*, однако наряду с нейтральным словом *умрети* в характеристике результата общего действия автор снова различает два стана. *Аще не умремъ 61* — говорят Ольгердовичи Дмитрию, *аще ли умру 68, тою же смертию умрети 68 и 73* — говорит и сам Дмитрий, имея в виду смерть отдельного человека, но в собирательном смысле по отношению к русским воинам говорится *положили есте главы своя 73, 75* и др. Традиционный оборот *сложити голову* по отношению к врагам не применим, поэтому автор использует древнее сочетание, обозначающее физическую смерть язычника, — *лишитися живота*, ср.: *Юлиан, который живот свой зле сконча 48*, сам Мамай *испроверже зле живот свой 76*, враги в бою размышляют о *погибели живота своего, понеже убо умре нечистивый, и погыбе память их с шумом 62*. В этом рассуждении и передано основное различие между христианским воином, положившим свою голову за правое дело, и *безбожными агаряны*, которые, утратившая свой *живот* (телесную жизнь), не получают жизни небесной. Здесь было бы мало указать на древнерусскую традицию,⁶ соответствующие формулы объясняются и реальными контекстами самого Сказания.

Сочетание *живот вечный* как обозначение жизни небесной, напротив, употребляется только по отношению к христианам, в том числе, естест-

⁶ Уже в русских текстах XI—XII вв. *испроверже животъ свои* употреблено в отношении к врагу, например в отношении к Святополку Окаянному в цикле произведений о Борисе и Глебе; в положительном смысле используются сочетания типа *бласти головы своя, помышляти о своей голове*, но также *положити головы своя, не щадя головы своя* (у Мономаха) и др.

венно, и в евангельской цитате (отсюда это сочетание и распространилось): *въсприиметь животъ вечный* 50; затем Дмитрий дважды его повторяет, все время подчеркивая противопоставление вечной жизни и смерти: *Ни без ума нам сия смерть, нъ животъ вечный* 57, *Нам ныне несть смерть, нъ животъ вечный* 66. Дело, следовательно, не в самом слове *живот* как контрroversе *голове*, а в характере формулы, в которую это слово включалось; формулы же складывались в разное время и в различной среде и потому отражали не совпадающие в стилистическом отношении оттенки.

Более того, противопоставление *головы* *животу* в современном значении этих слов было бы непонятным, поскольку в самом Сказании воплощением нравственных качеств Дмитрия и его воинов являются *душа* и *сердце*, тогда как Мамай и его союзники характеризуются *умом* и *мыслью*. В тексте 20 раз употреблены слова *сердце*, *душа*, *дыхание*, ср. Дмитрий — *нача сердцем болети* 49, *сердцем своим велми слезяше* 54, *храбрым людем в полках сердце укрепляется* 61, *от великие горести сердца своего* 66 и т. д., но также — *из глубины душа нача звати велеласно* 63, *господу богу все возможна: всех нас дыхание в руке его* 67, *от великия горести душа своя* 67 и др. Из сопоставления этих контекстов ясно, что *душа* (*дух*) и *сердце* христианина для автора синонимы. Сердце может иметь и нечестивый, и трижды это слово относится к характеристике врага: *вниде въ сердце его (Мамай) напасть роду христианскому* 43 — так начинается Сказание, о нечестивом сердце Юлиана говорит Киприан (48), в молитве Дмитрий просит Богородицу *смирить сердце врагомъ нашимъ* 53. Таким образом, о сердце агарян говорят христиане, не отказывающие своим противникам в наличии этого воплощения нравственных чувств. Однако души, духа в них нет — это несомненно. Христианскому *духу* противопоставлены ненавистные христианину *разум*, *ум*, *мысль*, т. е. человеческая гордыня, противопоставленная смирению и покорству христианина. Один лишь раз Дмитрий говорит об уме — и в уничижительном смысле: *«Ни без ума нам сия смерть, нъ животъ вечный»* 57. Еще раз говорится о русском воине Захаре Тютшеве — *довольна суца разумомъ и смысломъ* 49. Все остальные 20 употреблений этих слов⁷ относятся к Мамаю, но главным образом к Олегу и Ольгерду. Если Мамай *ослеплену же ему умом, того бо не разуме, како господу годо, тако и будетъ* 44, то союзникам Мамай отказано и в этом: *скудость же бысть ума в главе его* 44, *они же скудни умом* 47, *горе мне, яко изгубих си ум, не аз бо един оскудех умом, но и паче мене разумнее Вольгерд литовский* 57 и др. Анализируя свои стратегические просчеты, Ольгерд и сам указывает на то, что он не мог *разумети суетныя свои помыслы* 58, *чужую мудрость требуетъ* 58 и т. д. «Внешняя мудрость» *злых человек* формально и по содержанию противопоставлена душе правозверных. Впоследствии Олег сокрушается, что он доверился мудрости католика Ольгерда и силе поганого Мамай, хотя у него, православного, были и более могучие источники внушения. По функциональным свойствам сила души выше силы ума. Для автора это несомненно — и это лучше всего доказывает, что автором был церковник. Хотя личная мудрость Дмитрия, которая фактически показана в Сказании, и явилась залогом победы («*Увы нам! — говорят враги о засаде Боброка, — Русь пакы умудрися*» 71), но внушена эта мудрость духом—душой—сердцем. Последовательность в противопоставлении сердца уму как раз-

⁷ В списках находим вариации слов *мудрость*—*ум*, *ум*—*мысль*, что указывает на несущественность лексических различий этих слов, совместно противопоставленных душе и сердцу в описании христиан.

личных источников нравственной силы героев подтверждает целеустремленность автора в изложении своей позиции и цельность произведения вообще.

Наконец, после описания сражения мы почти не встречаем в тексте глаголов, передающих движение героев, — действие по существу закончено. Само значение таких глаголов здесь как бы преломляется в общем контексте, ср. русские воины *со всех стран бредут под трубный глас... грядущие же весело, ликующе*. Значение глагола *брести* в языке XIV—XV вв. вполне определено: 'идти вброд'. В основной части Сказания оно и использовано: *мнози же плъкы поганых бредутъ оба пол 68, а (кони) в крови по колени бродяшу 72*. Значение глагола *гряди* также вполне определено: 'идти', 'шествовать', и в таком смысле он употреблен в основной части произведения. Теперь же усталые воины бредут, еле волоча ноги, и вместе с тем торжественно грядут в ликовании. Смещением в значении слов, употреблением переносного значения автор показывает завершение строгой линии повествования: празднество окончено, пир прекращен, все прежние связи порвались, а новые еще только организуются под черными стягами князя.

Перелом настроения и разрыв связей, наступившие после сражения, стилистически демонстрируются буквально на каждом шагу. Вот слово, обозначающее победу. Прежде всего, победить может только верховный вождь, например, победить может Мамай (47) или Тохтамыш (76), но и Дмитрий (76), а также Пересвет, воплощающий волю бога и потому *победи велика, силна, зла татарина 74*; русские воины вражеских или вражеские воины русских, Олег и Ольгерд своих противников не побеждают, а всего лишь одолевают: *одолейте своего недруга* (говорит Мамай Ольгерду) 47, *начаша погании одолевати 69, 70*, русские преследуют врагов и не одолеша их, *понеже кони их утомишася 71*, и т. д. Но важнее то, что и само слово *победа* в заключительной части Сказания как бы сохраняет еще внутреннюю свою форму: *по-бѣда* — то, что случается *после бѣды*, несчастного для обеих сторон события, и распространяется одинаково на победителя и на побежденного, на Дмитрия и на Мамая — связи разорваны, но действительный победитель еще неясен, что и случилось в действительности: сам князь еще не найден среди погибших. Вполне возможно, что в первоначальном тексте Сказания слово *победа* в неопределенном своем значении было представлено гораздо шире, ср.: *безбожный же царь Мамай, видеъ свою погибель 71* — но в списке 342 *видѣвъ по бѣду* свою 32 об. (в списке 6 этого текста нет).

Функционально важное противопоставление светлого, христианского темному, языческому лексически и стилистически проявляется в нескольких оппозициях. Основная из них лежит на поверхности, является общим местом и каждому ясна своим отношением к тому или иному члену антитезы: Мамай — *поганый, еллин сый верою, идоложрецъ и иконоборецъ, злый христианский укоритель, безбожный*, все его воины *безбожники агаряне, половцы, поганые, печенегы, поганые татары*. Все эти определения, несмотря на различия в своем происхождении, — точные синонимы, они и варьируются довольно безразлично по всем спискам Сказания в большом числе вариантов: *поганымъ половцемъ 53 = поганому царю Мамаю 6, л. 50, или поганымъ еллиномъ 342, л. 12; от поганыхъ измаилтянъ 59 = от татаръ безбожныхъ 6, л. 62 об., и т. д.* Дмитрий, напротив, *человекъ христиан, смирен человекъ и образъ нося смиреномудрия, небесныхъ желанъ и чаа от бога будущихъ вечныхъ благъ, и наипаче же въоруженъ твердо своею верою и т. д.* Мамаю принадлежит держава: *держава твоя пощадитъ, царю, — говорит ему Олег (45), держава твоего царства, — вто-*

рит ему Ольгерд (46). *Елико довлеет твоему государству*, — обращается к Дмитрию Сергей, и в этом противопоставлении державы государству скрыто отношение автора к самовольному тирану Мамаю в его отличии от Дмитрия, который держит совет с вассалами и подчиняется воле бога. Вместе с тем оба слова объединяет их одинаковая многозначность: и держава, и государство в XV в. обозначали как само владение, так и верховного властителя, воплощавшего в своей личности державу-государство. Как частное лицо Дмитрий владеет *отчиною, отоками*, подобно другим князьям — владельцам *княжений* (даже и Олег). Все это в тексте Сказания равнозначные слова, синонимы, хотя по происхождению официально-книжное, высокое заимствование *отоки* и разговорное *(в)отчина*, разумеется, различны и стилистически дифференцированы, употреблены в различных контекстах, а в поздних списках заменяются, ср. *доволенъ есьми своими отоки* 49 = *отоки своими* 342, л. 8, но в списке 6, л. 43 уже замена *своею вотчиною* — старое слово выходит из употребления к концу XVII в.

Оба героя не свободны в своих действиях, оба осуществляют волю высших сил, причем Мамая подстрекает дьявол, и все его поведение окрашено в тона злобной принужденности: *мне убо, царю, достоить победити царя, подобна себе, то мне подобает и довлеет царская честь получитьи 47, которые грады красные довлеют нам* 49 и др. — слово *подобает*, видимо, попало сюда случайно, потому что основные формы выражения обязательности в отношении Мамая *достоит, довлеет*, т. е. 'следует', 'достаточно', некатегоричны. Наоборот, в отношении Дмитрия 10 раз использовано *подобает* (один раз в устах Ольгердовичей — *належитъ*, один раз в устах Сергея — *довлеет*), ср.: *то подобает ми тръпети* 49, *не подобает тебе, государю* 65, *тебе подобает особь стояти...*, *а намъ подобаетъ битися* 68. и т. д., 'соответствует' 'приличествует', но также без принуждения. Скрытый смысл данного лексического противопоставления заключается в том, что Дмитрию *подобает* действовать в удобное время по добрым мотивам и потому — успешно, тогда как Мамай обязан, принужден действовать ради самого действия. Этимологическая и семантическая связь слов *подобает, удобно, добр* и др. еще ясно сознавалась (подобное соотношение хорошо чувствуется и в современных говорах). В устах самого Дмитрия *удобь* и *подобает* еще одно и то же: *яко неудобь бе мощно таковому быти* 60 — *то подобает ми тръпети* 49, действовать подобает в подобное время, ср. поэтические повторы в словах Дмитрия и Боброка: «*Уже бо время подобно и час прииде!*» 69, «*И мало убо потрѣлим до времени подобна*» 70, «*Наше время приспе, и час подобный прииде!*» 71. В этом же значении используется и слово *година* — удобный для действия час, ср.: «*Не уже пришла година наша*», — говорит Боброк (70) и вместе с тем точное указание на длительность боя в словах очевидца: *в шестую годину сего дни... в седьмый же час дни* 70, — с полным соответствием слова *година* слову *час*. Этимологически *года* — 'благоприятное для действий время', тем более соответствующие слова применимы только к Дмитрию, поскольку его действия связаны с *добрыми делы* 46, *яко добрихъ вѣнии* у него 52, он связан с *подвигомъ добрымъ* 59, ждет *подвига добраго* 59, хотя ситуация складывается и не всегда *добръ удобна* 47. Единственный раз слово *добрый* отнесено к Мамаю и в характерном контексте: *ничтоже добра имам чаяти* 71. Добро Дмитрия есть реальный земной успех, который обеспечивается и предопределяется божественным *благом*; слово *благо* и производные в тексте Сказания и употребляются только в отношении к богу или в речах Сергея применительно к людям — носителям блага: *вы бо есте вѣистину блази рабы божи* 68.

Любопытно, что, кроме Дмитрия и Мамая, никто больше не связан столь явным обязательством действия — ни союзники, ни священники, ни воины. Необходимость действия — это проявление государства-державы. Когда речь заходит о боге, употреблено другое слово: *как господу год е, тако и будет* 44 (в списках новая форма: *угодно*, см. 6, л. 33). Это уже не обязательство, а самовольство, оно не имеет ничего общего с верховными обязательствами Дмитрия или Мамая.

Столь же последовательно выражено и различное отношение к похвале или порицанию обоих героев.

Похвала передается тремя словами: *слава, хвала, честь*. Внутреннее взаимоотношение слов *слава*—*честь* на материале древнерусской литературы уже было рассмотрено.⁸ *Слава* прилагается к князьям, *честь* — материальное выражение славы и относится к вассалам. В Сказании эта система обозначений несколько сдвинута, поскольку появляется слово *хвала*, а сама композиционная сложность произведения вызвала необходимость в противопоставлении «положительного» героя «отрицательному». Кроме того, автор-церковник иначе смотрит на феодальные представления о чести и славе. В Сказании Дмитрий, Боброк и другие *славят* бога, бог — *царь славы*, он субстанция славы (*да и ти познают славу твою* — говорит Дмитрий в молитве о своих врагах), поэтому *слава* — вершина и апофеоз действия, и, когда Боброк сообщает Дмитрию, что *«твой врѣх, твоя слава будетъ»*, он говорит о победе. Воины Дмитрия не могут получить славы, они в состоянии лишь причаститься к ней в результате своих мужественных действий, непосредственным их трофеем, как и в раннефеодальном обществе, остается *честь*, вот почему воины Дмитрия *хотят себе чѣсти добыти и славнаго имени*. Но бог, кроме того, еще и свет (*светодатель*, — говорит Дмитрий), он *светоносен*, его праведники, например патроны дружинной среды Борис и Глеб, *светлые*, они *сияют* отраженным от бога светом. Дмитрий этим качеством не обладает, как не обладает им ни один из живых праведников. Это только льстивый Олег может передавать Мамаю свои верноподданныческие восторги, называя его *преславным* или *всесветлым* царем. Уже в таком словоупотреблении проскальзывает авторская ирония над обезумевшим от нерешительности Олегом: ведь на самом деле Мамай — *нечестивый царь*, это определение неоднократно повторяется в тексте Сказания. Дмитрий не может быть *светлым*, но он *славный*. *Славе* как верховный носитель земной власти Дмитрий причтен после своей победы, он причтен и к *чести*, потому что, подобно рядовому воину, пошел в бой и сражался наряду с ратниками. Русские воины, как это и определено феодальными канонами, получают *дары и честь*, ср.: *даров и чѣсти от них приимах, многими дары почтивъ* и т. д.

Распространить на враждебные силы это устойчивое соответствие славы и чести автор не может. Похвала Олега и Ольгерда Мамаю передается словом *хвала*, сам автор и русские воины связывают Мамаю только с признаком *нечестье*. И Мамай в ответных словах союзникам благодарит их: *за хвалу вашу, за хвалу вашу великую*. *Хвала* — самая высокая оценка, данная человеком, она является земным эквивалентом *славы*, которую раздает бог. В этом противопоставлении и содержится основной смысл антитезы: она распространяется на Дмитрия и Мамаю — ни Ольгерд, ни Олег, ни кто-либо еще в нее не включаются.

⁸ Ю. М. Лотман. Об оппозиции *честь*—*слава* в светских текстах Киевского периода. — В кн.: Труды по знаковым системам, вып. III. Тарту, 1967. Возражения А. А. Зимина несостоятельны (см.: Труды по знаковым системам, вып. V. Тарту, 1971, с. 464 и след.).

Антитеза проявляется и в порицании героя. Мамай, враги, их союзники (Ольгерд) осуждаются словами *студ* и *срам* — обычным средством выражения соответствующего понятия не только в древнерусском языке, но и в большинстве современных русских говоров; говорится о *бестудии* их, *погани половци с многым студом омрачаются*. Мамай и сам говорит: «Сраму своего не могу тръпети», Ольгерд *възвратися въсвоаси с студом многым*, Мамай *увидели и посрамлена и поругана*, Дмитрий *посрами их суровство*, и т. д. Такими словами обозначалось чувство стыда (*студ*, *стыд*) и порицание за непристойные действия (*срам*). Дмитрий — герой иного плана, он воплощает благую сторону, он положительный герой, поэтому столь физические и приниженные характеристики к нему не могут относиться. В систему слов, выражающих порицание, входит слово *смех* как высокая форма осуждения с точки зрения церковника.⁹ Заметим, что в случае похвалы разрушение старого ряда *слава—честь* включением нового слова *хвала* происходит в сторону Мамаю, а в данном случае, наоборот, разрушение ряда *стыд—срам* включением слова *смех* происходит в отношении к Дмитрию. В обоих случаях слова *хвала* и *смех* шире по своему значению предшествующих слов, они как бы вбирают в себя значение обоих слов, например, в последнем случае *смех* включает в себя и ощущение собственного стыда (*студ*), и порицание со стороны (*срам*), но в обоих же случаях новое, третье слово ряда является стилистически маркированным. Дмитрий в молитве просит: «*Не дай же нас в смех врагом нашим*» 65, сам автор цитирует «*не дать в поношение врагом быти и в посмех*» 46. Здесь между поношением и смехом поставлен знак равенства; *сбъирают себе досаждения и понос* 47.

В проявлении чувств героев — проявление все той же антитезы, воплощаемой в разных словах. Более сорока раз в Сказании употребляются слова *уныние*, *печаль*, *горестъ*, *скорбь*, *плач*, и почти все они отнесены к Дмитрию или связаны с его действиями. Врагам или их союзникам эти переживания не свойственны, им вообще не свойственны никакие переживания, поскольку у них нет чувств и эмоций, а только рассудочное желание исполнить волю дьявола; только однажды эта ситуация переворачивается: после поражения Мамай *плачущи грѣко, глаголя...*

Исключительная напряженность событий, поставивших Русь перед новым нашествием, определяется высоким и конкретным словом *беда* (*беда*, *княже*, *велика*, *сию беду великую*, *избави, господи, от таких бед*), Ольгердовичи эту ситуацию определяют иначе: *яко велика туга и попечение належит великому князю Дмитрию Ивановичю*, *великая бо туга належит имъ от поганых измаилтянъ* — это взгляд со стороны первоначально не участвующих в горниле беды союзников, сочувствующих Руси; войдя в это горнило по собственной воле, они говорят уже: «*Братие, в бедах пособи вывайте*».

Мамаю, разумеется, ни *беды*, ни *туги* не предвидится, он вне этого, но его союзники, Олег и Ольгерд, говорят о притеснениях со стороны Дмитрия, выражая это словами *зло*, *обида*; слово *обида* как самое общее и неопределенное по значению и стилистическим оттенкам употребляется и в отношении к Дмитрию.

Наоборот, семантическая насыщенность обозначений перемещается автором с Дмитрия на Мамаю, когда он говорит о проявлении необузданного гнева. Дмитрий рисуется коленопреклоненным молещиком, и поэтому единственный раз, когда в отношении к нему употреблено соответствующее слово, оно (если это не конъектура) сопрягается с проти-

⁹ Ср.: Д. С. Лихачев. Древнерусский смех. — В кн.: Проблемы поэтики и истории литературы. Саратов, 1973.

воположным по смыслу словом, образуя неожиданный оксюморон: узнав о нашествии Мамаю, Дмитрий *наплънися ярости и горести* 49. Зато воинственная решимость Мамаю рисуется в градационном ряду так: *акы неутомимая ехыдна гневом дыша* 44, *неуклонно яряся на христианство* 47, *неуклонным образом яростьнося* 48, *яряся зьло* 76, *грозою идя* и т. д. Подобно кулачному бойцу перед схваткой, Мамаю разжигает себя в послании к союзникам, которые в свою очередь ему вторят: *огрозитися, имя ярости твоея, устрашаю Русь, погрозим ему, ярость его* — полный параллелизм этому «физиологическому» движению души врага составляют фрагменты, описывающие реакцию живой природы на эту беду: *и мнози зверие грозно воют, ждуще того дни грозного ... от такового бо страха и грозы великыя древа преклоняются* 61, и др. В древнерусском языке гроза — высшее проявление ярости. Подобные животные проявления со стороны Дмитрия, конечно, невозможны. Угроза, гроза, ярость — это свойственно Мамаю как носителю злой силы. Гневаться может и бог, но *гнев* — это справедливое проявление недовольства: *нъ не до конца прогневается господь на нас*, — уверен Дмитрий. Древнее, часто встречаемое в текстах сочетание *гнев* и *ярость* здесь также разложено на антитезу с тем же сквозным противопоставлением высокого и справедливого (*гнев*) животному и необузданному злу (*ярость*).

Глагольная лексика особенно наглядно выявляет противопоставление высокого архаизма обычному разговорному варианту, впоследствии закрепившемуся в русском литературном языке в качестве единственной возможности выражения. В таких случаях лишь применительно к Дмитрию и его воинам употребляется вариант высокий — враждебная сторона характеризуется нейтральной в стилистическом отношении лексемой. Во время создания текста оба варианта были живыми, отчасти сохраняли свое исходное семантическое различие, и поэтому в повествовании древнерусского книжника подобное стилистическое разграничение слов безусловно является авторским приемом. Так, сопоставляя различные отрезки текста, можно обнаружить, что по отношению к Дмитрию и его воинам используется глагол *хотети* и *желати*, а по отношению к враждебной силе — только нейтральный глагол *хотети*; по отношению к Дмитрию — *речи* (*реша*), *рече*, *рекоша* и др.; по отношению к врагам — *глаголаги*; некоторые отклонения, впрочем, возможны в списках Сказания. В списке 6 прямая речь Мамаю и др. не вводится словами типа *глаголя*, *молвя*, подобно другим спискам (ср.: *кликнуша еллинским гласом, глаголюща... погани же бежаще кричаду, глаголюще...*), а *рече* в этой функции последовательно сохраняется в отношении к прямой речи всех героев повествования. Видимо, здесь проявляется постепенное стирание исходного авторского разделения стилистических характеристик последовательной заменой всех вариантов общей безразличной в стилистическом отношении формой *рече*. В Сказании использованы и другие глаголы говорения, но не в отношении к Дмитрию или Мамаю: *говорят* бояре и — галки, *молвят* стяги, и т. д. Ряд глаголов использован еще в исконном своем значении без признаков переносного значения: *сказати* 'истолковать скрытый смысл'; так, Боброк *сказывает* приметы перед боем, послы Олега и Ольгерда *сказывают* смысл посланий Мамаю к ним. 43 раза в любом контексте использованы слова с корнем *вид(еть)* — *видеть* наиболее общее слово для передачи соответствующего действия. Но когда автор употребляет стилистически маркированные варианты (синонимы к этому глаголу) *смотреть* или *зреть*, его авторская позиция вполне определена. *Смотрение* относится к богу (*божьего смотрения, виждь смотреливымъ своим оком на люди своя*) и к Мамаю с позиции Олега и Ольгерда (которые

последовательно соотносят его с богом, за что, собственно, и упрекает их автор), ср.: *«твое смотрение нашея грубости»*. Глагол *зрети* встречаем в поэтических повторах автора: *грозно, братие, зрети тогда, а жалостно видети и грѣко посмотри ти* человеческого кровопролития 72; *умилно бо видети и жалобно зрети* таковых русских собраний. Перед нами обычное со времен Кирилла Туровского перемещение читательского внимания с одного аспекта зрения на другой; *смотреть > видеть > зреть*, т. е. собственно 'всмотреться', 'увидеть' и 'осознать' лицо или явление. Евдокия, прощаясь с мужем, *уже бо конечное зрение зреть на великого князя* (55), поэтому же и татары *плѣкы рускыя узреша, узреша множество великое людей* 62 и т. д., т. е. осознают конечный результат события — появление русских войск. Ничего не говорится о самом процессе «вглядывания» и «изучения» ситуации: вражеское войско, враги вообще в словесном воплощении авторского замысла даны как статичные носители предопределенного действия, поэтому и описываются лишь в тот момент развития действия, когда само действие требует показа их участия в событии. Автор и ограничивается указанием на результат: не посмотрели, не увидели, а уже осознали неотвратимость сражения. То же показано и явным образом: русское воинство долго шло к месту сражения, но враги узнали об этом (*узреша*) в самый последний момент, погнавшись за русской сторожей.

Зрети в этом смысле (внутреннее зрение) соотносится со значениями глаголов *знати* и *ведати*. Согласно Сказанию, *ведает* по существу все участники действия — это внешняя мудрость, сумма практических знаний, в плане процесса познания соотносимых с *видети*. В древнерусских рукописях смешение глаголов *видѣти* и *въдѣти* — довольно обычная вещь.¹⁰ *А не ведый того оканный* — о Мамае, *не ведашу бо* — Олег и Ольгерд, *не ведый того* — о Дмитрии, также и Пересвет с Ослябей *бе бо ведомы суть ратници в бранех*, и т. д. То, что *въдаешь*, можно передать другому — *повѣдати*, этим объясняются некоторые смещения авторского текста по спискам, ср. *подобаетъ намъ повѣдати* величества и милость божию 43, чему в списке 342 соответствует *повѣдати* величества божия (л. 1), а в списке 6, видимо, исходное сочетание: *подобаетъ намъ въдати величия божия* (л. 32).

Совсем иное дело — *знати*, т. е. быть включенным в познание высшей духовной мудрости, подобающей богу. Этот глагол употреблен только в устах Дмитрия; в своих молитвах, т. е. в самых высоких стилистически фрагментах текста, он отмечает, что Владимир Святой уподобился *познати* православную веру, сам Дмитрий и его подданные только с помощью Богородицы *познахом бога*, даже враги *познают славу твою* (бога), если на то будет воля божья. *Знати*, таким образом, соотносится со *зрѣти* и является содержанием и смыслом этого последнего действия. Стилистическое разграничение пар *знати* — *зрѣти* и *видѣти* — *въдѣти* в тексте Сказания несомненно.

Именно содержательной наполненностью в употреблении всех таких синонимов можно объяснить устойчивость соответствующих лексем в тексте: по спискам они не варьируют, поскольку до XVII в. различие между соответствующими словами, хотя бы и на стилистическом уровне, осознавалось весьма определенно.

Аналогичное противопоставление двух противостоящих сил можно проследить на любой группе лексики. За недостатком места я не буду останавливаться на характеристике чисто внешних, с точки зрения ав-

¹⁰ Иногда это объясняют фонетическим сближением *и* и *ъ*, что неверно, поскольку такое смешение отражается не только в новгородских рукописях.

тора Сказания, — вторичных типов противопоставления в этой развернутой антитезе. Например, легко заметить, что Олег пишет *грамоты*, Мамай шлет *написание* (т. е. текст послания) и дает *ярлыки*, Сергей посылает *в книгах написание* (текст священных книг), Ольгердовичи обмениваются *буквицами* (по некоторым спискам — *грамотами*), а Дмитрий ничего не пишет, он полагается на живое слово: свое — перед богом, и своих гонцов — перед союзными князьями. Поэтому если Ольгерд шлет к Мамаю *посла*, Ольгердовичи к Дмитрию — *послов*, все союзники Мамаю неоднократно — также *послов* (в одном случае может быть искажение: Олег Ольгерду *вестника посла*), то Дмитрий имеет дело преимущественно с *вестниками*; Сергей в свою очередь посылает к Дмитрию *посольника*, *посланного старца* — но не *посла*. Для этих слов разночтения в списках оказываются очень частыми, ср.: Олег — Мамаю *писа грамоты своя* 45 — в списках *ярлыки*, Олег — Ольгерду *со своимъ написанием* 45 — в списках *ярлыки*; Ольгерд — Мамаю шлет *грамоты* 46 — в списках *ярлыки*, Мамай вообще шлет только *ярлыки* (ср. совпадение текста с этим словом по всем спискам, просмотренным нами, что показывает возможность первоначальности именно такого слова в отношении к вражеским посланникам и их грамотам). Собирательное обозначение войска — *сила*, *орда*, *рать*, иногда *вѣинство*, *войско* применительно к врагу, русские войска даны и собирательно (*войско*, *воинство*), и индивидуализированно — перечислением *витязей*, *поляницъ*, *ратниковъ*, *вѣиновъ*, *воевъ*, *богатырей*, *удальцов*, *удалыхъ людей*. Само богатство синонимического ряда представляет собою явный контраст по отношению к обезличенной враждебной силе; ср. такое же соотношение и в былинных текстах.

Столь же дифференцированно и отношение к самому понятию 'враг'. Для Дмитрия и его союзников все их неприятели — это *враги*, *супостаты*, *противные враги*, *супротивные*, *противники*; Дмитрий для Олега и Ольгерда всего лишь *недруг*, у самого Мамаю, судя по данному словоупотреблению, врагов нет. В глазах автора Сказания Дмитрий не может быть *врагом* в объективном смысле этого слова, потому что в слове совмещаются значения 'неприятель', 'злая сила', 'дьявол'. Такая идея врага как нерасчлененного целого постоянно присутствует в тексте, осознается каждым переписчиком текста и в некоторых случаях даже заменяет более бытовое, а следовательно, и приземленное в стилистическом отношении слово *супостат*, ср.: «*Имаши, господине, победити супостаты своя*» 52 — *врагы* 342, л. 10 об.; *на мя опльчишася супостаты погании* 53 — *врази* 342, л. 12 об., и т. д.

Повороты сюжета диктуют выбор лексики и для обозначения пространственных перемещений действия. Так, на первый взгляд, кажется неопределенным употребление синонимов *Русь* и *русская земля*; иногда даже кажется, что здесь на новое для XV в. обозначение накладывается реминисценция из «Слова о полку Игореве» с его повторением *русская земля*. На самом же деле и употребление этих синонимов отражает авторскую позицию в отношении к действию. *Русь* — представление России извне, со стороны, во всей ее целостности: Мамай идет не на русскую землю, но на Русь; Дмитрий говорит о русской земле только до выхода его войск за ее пределы; перейдя границу, он также говорит о Руси. Сам автор, верный своему правилу дифференцировать все явления и события, связанные с русскими, говорит не собирательно о Руси, а о *русской земле*, подразумевая *землю московскую*, *землю рязанскую*, *землю залескую*, *землю волынскую* и т. д. В одновременном использовании двух терминов с одним значением оказалось возможным передать и впечатление монолитности — в противопоставлении отдельным русским землям, и впечатление отдаленности — в противопоставлении позиции наблюдателя,

находящегося на русской территории. Сам автор никогда не говорит о *Руси* — только о *русской земле*, потому что он географически и является тем самым наблюдателем, который не выходит за границы русской земли и, следовательно, отражает точку зрения русской стороны. Для позднейших переписчиков позиция автора становилась неясной: почему Русь — это именно московская, рязанская, даже новгородская и другие земли совместно? В результате в различных списках появлялись исправления текста, ср. в 342 по сравнению с изданным текстом: *злата и сребра и богатства много наполнися земля московская* 45 = *много в Руси* л. 2 об.; *и хоцеть ити на Русь* 44 = *на русскую землю* л. 2 об.; наоборот — *на русскую землю* 45 в изданном списке = *на Русь* в 342, л. 2 об., и т. д. В XVII в., когда список создается, *Русь* и *русская земля* — только московская земля. Разной по спискам, несовпадение исправлений показывает, что перед нами именно бессистемная правка исходного текста, затемнившая исходное распределение терминов.

Пространственно-временная четкость изображения в том виде, как она проявляется в словесной структуре текста, вообще поразительна. Это стало основным средством воссоздания иллюзии движения — войска, героев, событий, хотя наряду с тем используются и обычные возможности поэтического текста (смещения в композиции, сопоставления разных планов повествования, развернутые сравнения с жизнью природы и т. д.). Примеров такого рода множество.

Противопоставление места боя времени сражения передается словами *побойще* и *брань*, ср.: *како случися брань на Дону великому князю... с поганым Мамаем* 43; *велика брань была русским князем на Калках* 55, *господь с нами, силен в бранехъ* 63, *утвердися акы некими крепкими бранями* 67 и др. — 10 раз; (после боя) *разсыпашася вси по велику, силну и грозну побойщу* 72, *мало выехав с побойща* 73, *выехав на велико, силно и грозно побойще* 73 (и рядом: *отъехав на иное место* 74), *поганый же Мамай тогда побеже с побойща* 75 и др. — всего 7 раз. *Бой* — это взаимное действие двух враждебных сил, и здесь не может быть позиции наблюдателя; поэтому различий в употреблении этого слова по отношению к русским и их врагам нет; оно вообще встречается редко и совмещает в своем значении пространственно-временные границы этой *беды* (ср. плач Евдокии, которая говорит о битве на Калке: «*От тоа от Калаукия беды и великого побойща татарскаго*» 55) — *князи белозерские, подобни суще к боеви* 51, «*Аз же прежде сего множество теми приметами боев искусих*», — говорит Боброк (65) — место сражения (*побойще*) и время боя (*брань*) здесь представлены совместно как факт сражения, как беда.

Если *побойще* — собирательное обозначение места боя, то *место* всегда конкретно локализует «пространство события», ср.: (у поганых) *от великия силы несть бо им места, где разступитися* 68; (в стычке Пересвета с татаринцом) *едва место не проломися под ними* 69; *яко немощно бе вместилися на том поле Куликове: бе место то тесно между Доном и Мечю* 69. Конкретность пространственных обозначений всегда связана с этим словом, довольно частым в Сказании, ср. еще: (Ольгерд—Мамаю) «*Да приидетъ держава твоего царства ныне до наших мест*» 46; *на месте, рекоемое Березуй* 60; *реки же выступашу из мест своих, яко николи же быти толиким людем на месте том* 66; (Мамай) *выехав на высоко место с трема князи* 68, и др. Слово *место* до сих пор встречается в русских говорах для замены любого другого слова с конкретным значением (так и у Аввакума).

Напротив, слово *время* используется для передачи конкретной, данной временной границы, точно соотносенной со словом *место*, ср.: (Олег —

Мамаю) *«Ныне же... приспе твое время»* 45, *в то же время* 58, т. е. *по малех же днехъ* 59, начинают совещаться Ольгердовичи, движение войск и подготовка к бою происходили *во время ведра* 62, 63, перед боем Дмитрий говорит: *«Уже бо время подобно, и час прииде»* 69 — слово *часть* уже явно обозначает конкретный отрезок времени, как и в современном русском языке (см. дальше: *часть же третий* и др.), и тем самым не входит в систему изобразительных средств Сказания: это термин. Однако конкретность времени в тексте противопоставлена абстрактно-собирательному слову *век*, всегда соотнесенному с вечной блаженной жизнью: *«А они в веки царствуют»* 55, — говорит Евдокия о своих сыновьях, также и в речах Дмитрия: *«В ономъ веце со святыми»* 50, *«в будущий век»* 50, и т. д.

Аналогичное противопоставление, хотя и скрытое, представлено и в паре *путь—дорога*. Слово *путь* обозначает временные или абстрактно-собираательные (а тем самым скорее узуальные) границы действия, слово *дорога* всегда ограничивает конкретно-пространственные пределы движения, ср.: (Ольгердовичи) *хотеше совершити сим путем подвига сего добраго* 59; *предложитъ бо нам путь на Северу, и тем путем утаимся отца своего* 59, *но застали намъ путь* 57 (говорит Олег о блокаде со стороны Дмитрия), также в цитате *путь нечестивых* 47 — сочетание, которое стало камертоном в определении семантических границ слова, поэтому и в конкретных своих значениях слово воспринимается как обозначение обобщенных действий: *а сам государь князь великий, путем едучи* 57, ниже он же *поехаша путем* 60, тогда как его воины и вассалы перемещаются *по дороге (на Бращеву дорогу, единою дорогою и т. д.)*. По-видимому, такое соотношение слов в поэтических текстах держалось довольно долго, во всяком случае среди разночтений в просмотренных списках нашлось лишь одно, связанное с употреблением этих синонимов: *«Но застали нам путь»*, — говорит Олег по изданному списку (57); *путь заступают*, — толкует это место писец списка 6, л. 59, *но застали намъ дороги*, — уточняет переписчик списка 342, л. 17. Конкретизация словом *дорога* разрушает точность художественного образа, включенного во временной план повествования, снижает поэтическую ценность горестного признания Олега, который по существу уверяет Мамаю, что у него в силу создавшихся условий нет никакой возможности (предельность действия) выступить ему на помощь. Рассечение временных и пространственных границ повествования и передача этого словесными средствами литературного языка выявляют в авторе Сказания человека нового времени. Следует подчеркнуть хотя бы на последнем примере, что возможность этого возникает только при умелом столкновении разговорных русских слов (*дорога*) с высокими словами церковнославянского языка (*путь*), семантика которых еще невидимо связана с обычным для священных книг употреблением (*путь нечестивых*), а потому стилистически и семантически еще несводимых в одну общую лексическую систему.

Противопоставление собирательно-абстрактных и конкретно-чувственных явлений, также материализованных в лексических парах, выявляет в авторе книжного человека, осознающего необходимость подобного членения в художественном тексте. Автор даже как будто различает особенности авторской речи в ее противопоставлении речи своих героев: последняя несколько архаизирована по отношению к началу XV в. Так, Олег говорит: *«Аз чаях по преднему, яко не подобает русским князем противу вѣсточнаго царя стояти»* 57; Дмитрий: *«Преднии (воины) уже испиша и весели быша и уснуша»* 69 с древним значением слова *передний* 'первый', 'прежний' во временном значении: *передний* тот, кто

находится сзади.¹¹ В авторской ремарке это многозначное в XV в. слово заменяется более точным: *на пръвое възвратимся* 60 — в более ранних русских текстах этому соответствовало сочетание *на преднее возвратимся*. Автор Сказания не позволяет себе смешивать пространственно-временные характеристики и в тех словах, которые в его время еще только изменяли свое семантическое содержание. Например, в XIV—XV вв. происходило, сначала в отдельных сочетаниях, изменение значения слова *правый*: не только 'справедливый, истинный', но и 'находящийся справа'. Лишь в конце XV в. в московских грамотах и летописях *правый* в новом значении употребляется уже безотносительно к противоположной, левой, стороне, происходит окончательное выделение понятия *правый* не в связи с *левым*. На протяжении же XV в. оставалось возможным только сочетание *правую руку — левую руку*, всегда совместно, как это и дано в традиционной воинской формуле, ведущей начало с XII в.: (Дмитрий) *правую руку уряди себе брата своего князя Владимира, а левую руку...* 56; *а с правую руку плъкъ ведетъ Микула Васильевичъ, а левую же руку плъкъ ведетъ Тимофей Валучевичъ* 68. В случае если требуется указать одну правую сторону, вне ее зависимости от левой, автор использует слово *десный*: *и приниче к земли десным ухом на долг час* 64; *уклонишася на десную страну в дуброву* 72; впрочем, не в воинской формуле, например в сочетании со словом *сторона*, старое слово возможно и в случае противопоставления левой части, ср.: *по десной же стране плъку татарскаго ворони кличуще, а по левой же стране...* 64. Автор не может выйти за пределы семантической системы своего языка, а последующие переписчики рассматривали эти расхождения как чисто стилистические.

В тексте Сказания довольно много словоупотреблений, указывающих на время составления произведения. Слово *победа* еще отчасти сохраняет исконную неопределенность значения и потому одинаково соотносится с победителем и побежденным. Слово *година* и *часть* в Сказании также еще выступают в качестве полных синонимов, обозначая один и тот же конкретный отрезок времени. Слова *скоро*—*быстро* и *твердо*—*крепко* также еще не смешиваются в своих значениях, как это стало обычным в более позднее время. В тексте Сказания употреблено только слово *животъ*, а слова *жизнь* нет — последнее вошло в литературный русский язык лишь с конца XV в. Слово *трупъ* употреблено в древнем своем значении 'пень', 'вырубка', 'поваленный ствол', ср.: *егда в мертвомъ трупу лежитъ* 72, *а трупу человекъ* 72, *имать пасти трупа человекъ* 66. Здесь употреблены архаические слова, которые после XV в. либо исчезли, либо перешли в разряд диалектных: *узорочье*, *рыдель*, *яловцы*, *нолны*, *пахать* 'вять', *сѣто* 'сотня', *буйный*, *буявый*, *распудиги*, *дивий*. В реминисценциях из «Слова о полку Игореве» некоторые тексты автору уже неясны; так появляются *силнии млъния* 69 на месте *синии млъния* (т. е. 'сверкающие'); *ударимся на великыя стада жировины* 71 вместо ожидаемого прилагательного *жировныя*, т. е. 'богатые, обильные', и т. д.

Примечательной особенностью стилистического оформления в Сказании является полное отсутствие вариантов для вспомогательной лексики; здесь использованы только *мощно*, *вельми*, *токмо*, *ради*, *тольма* и др., в то время как варианты этих слов отсутствуют — на 16 употреблений предлога *ради* нет ни одного случая с использованием равнозначного ему *дѣля*. Правда, наряду с *вельми* в отношении к Мамаю дважды употреблено слово *злы*, но характер текста позволяет подозревать позднейшую вставку в градационном ряду: *велико зело изрядно* 65 (все слова с од-

¹¹ См.: Д. С. Лихачев. Из наблюдений над лексикой «Слова о полку Игореве». — ИЮЛЯ, т. VIII, 1949, вып. 6, с. 551—554.

ним значением). Перед нами определенно художественный прием, состоящий в том, что автор убирает вариативность вспомогательной лексики, чтобы не перегружать текста излишними, не несущими функциональной нагрузки вариантами. Однако тем самым оттеняется функциональная важность и стилистическая насыщенность тех лексических вариантов и синонимов, которые связаны с семантическими вариациями текста. Они релевантны в тексте и потому проявляют свое различие, в тексте возникает их взаимное противопоставление.

Не вхожу здесь в рассмотрение собственно стилистических средств построения художественного текста, использованных автором Сказания, — все они основаны на умелом использовании наличного лексического материала. Любопытны соотнесения слов типа *поспешати—ускоряти*, *уповати—надеятися—чаяти*, *учредити—урядити—установити*, *опълчитися—въоружатися*, *пособити—помогати*, *оставити—отступити*, *испытати—искусити* и др. Причудливое варьирование семантических оттенков в глагольной лексике позволяет создать, если можно так выразиться, вибрирующий фон повествования с постоянным вниманием к словам, передающим перемещение пространства во времени, или, что точнее, к постоянной смене пространственных отрезков, данных во временной последовательности. Первоначальные источники произведения, сколько бы их ни было, включены в общий повествовательный ряд, а общность лексико-стилистического варьирования, рассмотренного здесь в основных чертах, распространяется на весь текст в целом. Следовательно, можно говорить о Сказании как о единой в словесно-семантическом отношении структуре. Вместе с тем это структура, характерная для художественного текста нового времени, потому что разностилевые элементы сопрягаются здесь в полном соответствии с содержанием конкретного фрагмента поэтического текста, а не соотносятся с определенным жанром или определенным типом текста, как это было характерно для древнерусской литературы.

Стилистическая расшифровка текста показывает, что серия тернарных оппозиций, связанных с действующими лицами (Дмитрий — Олег — Мамай или Киприан — Сергей — Пересвет), местом или временем действия (Русь — побоище — Русская земля) и т.д., строго соотнесена каждый раз с особыми словами или их значениями. Накладываясь друг на друга, совмещаясь в последовательности текста, эти слова создавали перспективу действия, сплетали сложную ткань стилистического подтекста, понятного современному читателю, но уже почти неясного для нас. Это лингвистический уровень художественного текста, несущий дополнительную, «словесную» информацию о действии и действующих лицах. Движение текста создавалось также и выбором слов, и понять это можно, только проецируя словоупотребление памятника на семантическую систему XV в. Работа эта очень сложна из-за отсутствия методики описания и словарей. Тем не менее начинать такую работу необходимо, поскольку без ее исполнения невозможно расшифровать древний текст во всем богатстве его художественных средств. Уже на примере Сказания видно, что: 1) наличие единая стилистическая отработка текста независимо от происхождения его составных частей; 2) этот текст составлен в первой половине XV в., т. е. еще до совмещения церковнославянского и русского лексических пластов в границах одного текста; здесь много лексических и семантических архаизмов русского языка; 3) умелое использование семантических дублетов в художественном тексте позволяет оттенить своеобразие каждого слова, употребленного автором, объективно осознать его основное значение, в определенном контексте выявить оттенки его значения.